

Новость

— Епиходов! Епиходов! — у сорокалетнего фельдшера Мошкина начинали стучать от страха зубы. — Поворачивай, тебе говорю, к берегу. Пов-вора-чивай! — загребал он рукой в воздухе, будто пытаясь плыть, и показывал в сторону идущего полным ходом встречным курсом коммерческого катера с пассажирами. — Что ж ты — ослеп совсем?! Волной нас накроет сейчас от него, волной! Потонем!

Лодочник Епиходов, рыжий бородатый сорокавосемилетний мужик, неторопливо правил трёхметровым шестом, погружая его в илистое дно таёжной реки. Деревянные вёсла были сняты им с уключин и лежали у бортов лодки, просыхая. Мотор, из опасения наскочить винтом на корень или ствол дерева, был давно поднят и покоился на дне лодки, сам похожий на диковинный клубень. У берега в этих местах было много топляка, и нередко заезжие рыбаки повреждали винты моторов и днища катеров и лодок.

Весь вид Епиходова говорил о том, что никакая брань не могла бы задеть его спокойную вольную душу, и даже суетливость сидящего на носу лодки Мошкина, держащего в ногах картонный ящик, упакованный в целлофан, не отзывалась в нём ничем другим, кроме как сонливой и трудно проходящей зевотой. Ко всякому начальству Епиходов относился с природным равнодушием, при нём никогда не робея, как делали это другие, и не ломая своей натруженной в рыбацкую путину спины. Епиходов знал без напоминания, что у начальства хлеб свой, а у него свой. А Мошкин и был как раз для него таким «начальством».

— Здесь мелко-о,— говорил Епиходов всё так же медленно, растягивая слова, будто распеваясь,— кошке и той по шею бу-удет, потонуть ника-ак невозможно. Качнёт и отпустит, это ж не море какое... — и вдруг начал петь баском раскатисто и громко: — Э-эх, дор-роги, пыль да туман... Холода, тревоги да степной бу-урьян...

— Какой тебе туман?! Какие ещё такие дороги?! — севшим голосом пытался образумить Мошкин беспечного, как ему казалось, рыбака.

Ему было совсем уж не до песен: с утра съеденная у городского приятеля стерлядь просилась обратно в воду. Страх воды, до того дремавший где-то в глубине его впадой груди, очнулся и давал

о себе знать непроходящей паникой. Плавать Мошкин не умел, если и заходил когда в воду на реке или море, то — не выше груди. А тут оказался он в положении, ему неприятном, зависимом, что хотелось скорее избавиться от него, а избавиться было никак невозможно, хозяином положения был не Мошкин, а тот, с кем он имел общение вынужденное, его тяготившее.

Выбираясь раз в месяц из рыбацкого посёлка в «цивилизацию», цивилизации этой Мошкин совсем не видел, неделю «состаривал» у приятеля печень, повышая градус. Последних же два гостевых дня старательно выгонял хмель в бане и из неё выходил с прояснённой головой младенца. Мир для него снова становился новым и интересным. Ему снова хотелось жить, и мысли начинали приходить самые благостные, безгрешные. О недельном загуле напоминали только слабость и ломота во всём теле, да ещё необоримое желание отоспаться. Но вот сон приходилось оставлять на потом, требовалось забрать в аптечном складе заказанные препараты и отбывать назад, в рыбацкий посёлок, на отправленной за ним лодке. И эта мысль о возвращении уже начинала беспокоить Мошкина всё больше и больше, омрачая его так хорошо начинающийся день. В посёлке его ждала пустая рубленая изба, без хозяйки и детского шума. С той поры, как стал он заведовать фельдшерским пунктом, его десятилетний брак прекратил своё существование. Жена его Клавдия, или Клавушка, дородная тридцатилетняя тоболянка, не пожелала перебираться «к медведям», а Мошкин особо на том и не настаивал, усмотрев для себя в этом её отказе избавление от тяготившего его супружества. И о чём он начинал уже жалеть, досадуя на свою поспешность в таком тонком семейном вопросе, как переезд. «Можно же было,— думал он, обходя широкие дождевые лужи,— с ней и поласковой как-то... Подходец найти. Аргумент! И незачем было вот так сразу горячку пороть. Эх, хороша была Клаша, да стала не наша». Клавдия после развода с Мошкиным долго одна не была, посватался к ней отставной военный, человек приличный, открывший своё дело. Поэтому она и думать долго не думала, вышла за него замуж и переехала с ним в Кисловодск, крепко забыв

Мошкина, как забывают о февральском холоде в тёплые июньские дни.

Пророкотав по фарватеру, катер оставил позади себя расходящиеся в стороны полуметровые пенные волны. Лодку Епиходова подняло невесомой щепкой и тут же опустило, едва не перевернув. Борта качнулись и черпнули холодной бурой воды по самые щиколотки резиновых сапог седоков.

Мошкин схватился двумя руками за лавку, едва не выпав.

— Искупать меня решил, леший тебя к себе забери?! Говорил я тебе, что к берегу надо?! К берегу! Чем ты там слушал?!

— Ну говорил... Ну к берегу... — стал мямлить в ответ Епиходов и принялся вычерпывать ковшиком воду. — На реке это всегда так бывает, мы к тому привычные. Потонуть не потонули, и ладно. — Чтобы я да ещё раз с тобой куда поехал...

— На то воля ваша, с кем ехать, — всё так же спокойно отозвался Епиходов, плеская за борт воду со всплывшей рыбьей чешуёй.

— А тебе что, совсем в город неохота?

— Не знаю, надо или нет. Разве только снастишка какого в запас прикупить.

— Снастишка... — усмехаясь, передразнил его Мошкин, успокаиваясь и добрея. — В кино бы там сходил, газету купил...

— Моё кино лет двадцать как кончилось, а газеты в посёлок и так привозят.

— Так ты что, в кино двадцать лет не был?.. — спросил Мошкин, припоминая его отсутствие на сеансах передвижки.

— Двадцать пять, — уточнил Епиходов, зачерпывая со дна лодки полный ковш воды. — Как с третьего курса вгика ушёл, так и всё... Амба!

— вгика?.. — Мошкин подумал, что он ослышался. — Ты на кого там-то учился?..

— На режиссёрском. У Соловьёва. Вместе с Кайдановским.

— Врёшь!

— Мне что, побожиться вам? — спросил Епиходов, переставая черпать.

— Не надо. Верю, — сказал Мошкин, отводя глаза и чувствуя, как новая волна досады захлёстывает его душу.

Тот, на кого он и подумать не мог, что он может быть выше всей этой беспросветной кутерьмы, вдруг оказался добровольным пленником её. Будь у Мошкина такая возможность, да разве бы он упустил её? «Нет, — стал думать Мошкин, — тут что-то не так... Не уходят просто так с третьего курса института, куда конкурс выше, чем в космонавты. Надо будет расспросить его...» И тут же, пришла другая мысль, и эта мысль настойчиво отгоняла прежнюю: «А если он не сам ушёл?.. Уехать добровольно из Москвы в эту глухомань и столько лет молчать пескарём...» Он уже не мог

думать ни о чём другом. Чужая жизнь, такая некогда успешная и по какой-то неведомой причине разменянная на ржавые монетки, даже, может, и не на монетки, а на самый что ни есть прах, на рыбью чешую... была ошеломительная для него и невыносима.

Весь остальной путь Мошкин молчал, а Епиходов пел, но уже не громко, как прежде, а тише: — Э-эх, дор-роги, пыль да туман...

Милосердие

У дымовчанки Серафимы Гладышевой мужа на фронте убило. И случилось это за три месяца до Дня Победы. В извещении, которое принесла ей почталыон Тоня Слепышева, факт смерти Григория был описан по-военному скупно и бесспорно. Казённая бумага, выписанная по такому скорбному поводу, на то и была казённой бумагой, чтобы в ней вся человеческая жизнь напоминала не краткие анкетные данные, а эпитафию. Почерк писавшего извещение полкового канцеляриста был твёрд и разборчив. И мог бы считаться в другом месте и времени образцовым, если бы не одно важное «но»: Серафиме Гладышевой после получения похоронки было не до любованья чужой каллиграфией. По прочтении извещения у неё не оставалось уже никаких сомнений в истинности сообщаемых в нём сведений о муже. Это не было шуткой или ошибкой с однофамильцем, а самый что ни есть документально подтверждённый факт гибели Григория. Обречённо принимая это известие, Серафима знала, что из Дымова на фронте воевали и другие Гладышевы, но не было среди них полного тёзки Григория, да ещё и проживающего по схожему адресу.

Сам город Дымов перед войной был небольшим, чуть больше десятка тысяч жителей от мала и до велика. Однофамильцы и вовсе доводились друг другу дальней роднёй или сватами. Поэтому напутать с адресом в войсковой части не могли. К тому же и писем от самого Григория не было давно, с начала года. В последний раз Григорий писал дней за пять до своей гибели. В том письме были ободряющие и долгожданные для неё слова, обещающие его скорое возвращение:

«Дорогая моя Сима, знай: Победа наша близка, и немецко-фашистский враг, чувствуя это, отступает — можно сказать, что он бежит от нас в панике. Но есть и такие места, как на нашем участке фронта, где он сопротивляется отчаянно, минирует дороги и мосты и всё ж таки несёт от нас большие кровопролитные потери в живой силе и технике. И мы чувствуем, что в нём нет уже той звериной наглости и упорства, что была в начале войны, когда он каждый день отхватывал по сорок вёрст нашей родной земли. Теперь же этот волк уж не в хлеву, а на псарне. Он зажат нами в угол

и в ответ может только скандалиться и клацать в бессилье зубами. Будь уверена, что и зубов у него осталось не так много, а те, что есть, они сильно поистерлись и вот-вот выпадут благодаря нам. Любящий тебя Григорий».

Последнее письмо с фронта Серафима перечитывала часто, хотя и без того знала его всё наизусть, от первой и до последней писанной химическим карандашом буквы. Ей были важны не только милые сердцу строки, но и знание того, что её Григорий жив и его, именно его, а не чья-то рука писала ей во время боевого затишья письма. За все четыре года войны их было немного, не набралось и двух десятков, и тем не менее содержание всех она помнила, потому что перечитывала их каждый поздний вечер. Теперь же писал известие не Григорий. А написали о нём, вложив извещение в стандартный конверт без марки. Серафима перечитывала похоронку снова и снова, и с каждым разом будто какая-то холодная каменная плита начинала давить на её грудь, мешая дышать. Глаза её увлажнились, синие буквы поплыли, наезжая одна на другую, сливаясь в единое нечитаемое кружево. В извещении, кроме специальных сведений, отписка печати и отметок, относящихся к военному ведомству, было сказано с предельной ясностью следующее:

«Ваш муж красноармеец Гладышев Григорий Степанович, уроженец г. Дымова Пензенской области, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 27.2.45 г. Похоронен юго-западная окраина дер. Гросс Петфедорф, на дивизионном кладбище, Верхняя Силезия, Германия».

Проголосила тогда Серафима бабьим тяжким плачем всю недолгую майскую ночь, зарывая лицо в жёсткую перьевую подушку, прижав к груди проклинаемое всеми, кто его получал, извещение с мужниной фотокарточкой, а горе своё всё одно не вымыла, продолжая верить в его возвращение дальше. Засела в Серафиме эта вера крепко. Укоренилось чувство сразу во всей душе, как минный осколок. Снаружи это ранение было не разглядеть. А меж тем и она саднила огневой болью, продолжая ныть и ныть, не переставая, во всякую минуту, как взятая за живое. Григорий был частью Серафимы, а теперь этой части не было, её взяли и отсеки. И, как это бывает с инородным предметом, попавшим в человека, стало горе от потери мужа у Серафимы день ото дня «зарастать» слоями худого житейского «мяса». Ведение мелких каждодневных домашних дел и выполнение обязательной нормы раскроя грубого шинельного сукна на швейной фабрике имени Семёна Будённого сделали её потерю фактом жизни. Что свыкла Серафима с ней так скоро, как—и сама не могла

понять и самой себе объяснить. Был Григорий в её судьбе—и в одночасье не стало Григория. Не заметила она, как накрыла её чёрным платком вдовья жизнь, затмив все скупые радости жизни. И не стало больше в Дымове Серафимы-хохотушки, а вместо неё продолжила отбывать жизнь Серафима-печальница. Сошёл с её щёк прежний румянец, поблёл, как это бывает с непрочной краской. Не стало и блеска в голубых, прежде выразительных глазах, некогда так похожих на небесную синь. Теперь же эта синь была тускла, как небо в Дымове поздней осенью, и Серафима смотрела ею на людей и мир по привычке, по долгу, а не с былым задором и весёлостью.

К осени сорок пятого один за другим снова потянулись через город Дымов воинские эшелоны, но уже к восточной границе. Август стоял над ним, с первых дней—сухой, маловетренный. И двери солдатских теплушек, набитых людьми и сеном, были открыты настезь с двух сторон. Но гуляющий в них сквозняк был по-степному жарок и ожидаемой живительной прохлады не добавлял. В теплушках солдаты, старшины, лейтенанты стояли, сидели, курая из кисетов союзнический табак; балагурия, вспоминали хорошие довоенные дни. И не было в их разговорах даже и единого слова о совсем недавних затяжных кровопролитных боях, где они видели смерть своих товарищей. Впереди их ждало не скорое возвращение домой, а вновь неизвестность военного быта, теперь уже на японском фронте, где тоже возможны будут для многих из них и ранения, и смерти. Трофейный аккордеон с хорошим голосом, бывший среди них и спешно выучивший за недельную дорогу «Катюшу» и «На сопках Маньчжурии», совсем забыл, не вспоминая, и «Лили Марлен» и «Хорста Весселя». Он играл и играл не переставая, по-новому, даже не зная, что в его регистре может быть иной, незнакомый голос.

Солдатки, что не могли уйти с фабрики, с надеждой отправляли ребятишек на станцию «высмотреть батю». Кто был из них постарше и побойчее, тот кричал: «Из Дымова есть кто?!»—а из вагонов им задорно отвечали: «Таковых нет! Мы пскопские!.. Ярославские есть!.. Ребятня, а Вятка не пойдёт?!» И тогда паровозный машинист, как строгий школьный учитель, видя сигналы к отправлению дежурной по станции, глушил эти выкрики, давая длинный гудок предупреждения о начале движения, стравливая через свисток излишки перегретого пара.

На станции Дымов ему пришлось доливать израсходованный объём воды. И пока была заправка водой и погрузка топлива, солдатам разрешалось выйти из вагонов и «потоптаться по земле». А потом раздалась многократно повторенная команда: «По вагонам!»—и бойцы вернулись обратно, томиться до следующей остановки. Лязгая сцепкой,

состав начинал набирать скорость и отходил от станции.

Приходила сюда после работы, делая большой крюк по малолюдным и плохо освещённым улицам, и Серафима Гладышева. Жила она на другом конце города, в районе Нахаловки, и к фабрике ей было идти много ближе, чем к железнодорожной станции.

Никаких военных поездов она не заставала, а если и останавливался на станции Дымов в ту минуту какой-нибудь проходящий состав, то чаще всего он был гружён углём или лесом и, добрав в паровозный накопитель воды, спешно следовал с востока на запад, где начинала подыматься с руин советская земля. Ни одного пассажирского лифера с начала войны и до её окончания больше не проходило мимо этого заволжского города ни в том, ни в другом направлении. Так что жителям Дымова иной раз могло показаться, что на западных землях их страны больше не осталось мирного населения и что их город стоит один-одинёшенек во всей европейской части. А между тем в двух столичных газетах и одной местной они регулярно могли прочитывать — и в дополнение прослушивать по радио — важные правительственные сообщения. И было понятно, что верховная власть в стране есть и она, как может, заботится о своём народе. Смущало дымовцев одно: что все политически выверенные сообщения о происходящем в стране и мире печатались в дымовской типографии, а радиосообщения передавались по радиоточкам из одного места — городского радиоузла.

Была ещё в городе почта у рыночной площади. Она получала корреспонденцию ежедневно, в любую погоду, с железнодорожной станции. Возил её туда и обратно трёхтонный голубой грузовик с закрытой кабиной и железной будкой. Он подвезжал вплотную к почтово-багажному прицепному вагону и ждал, когда её перегрузят. Почты было мало. Люди писали друг другу нечасто в трудное военное время. Оттого грузовик всегда оставался недогруженным письмами в прифронтовые города, зато посылки отправлялись из Дымова на передовую многими десятками — и для родных и для просто незнакомых бойцов. Фанерных ящичков не хватало, и их заменяли распоротые надвое конопляные мешки. Из них шивали хозяйки и их дочери два или три мешочка. В вощёную бумагу клали, старательно завернув, четвертушку хозяйственного мыла, вязаные шерстяные носки и варежки, вяленую рыбу, картофель и, главное, писали письмо на целый тетрадный лист. В письме, кроме перечня вложения, говорилось о том, что в тылу ждут возвращения каждого, кто «сражается за нашу Советскую Родину», и было пожелание им скорее возвращаться с Победой и оставаться как можно дольше невредимыми.

Хотя посылки и уходили к неизвестному адресату, но были и такие случаи, когда в ответ с фронта приходило благодарственное письмо, которое давало начало дружеской переписке. Длилась она недолго и прерывалась внезапно.

Первое письмо от Григория Серафима получила в сентябре из Тихвина, в нём Григорий писал:

«Здравствуй, моя дорогая жена Сима! Пишу тебе с большим перерывом, так как всё время был в военной дороге и почты постоянной не имел. Недавно получил шинель. Она сшита на нашей фабрике. Мне от этого обстоятельства сделалось тепло и светло, хотя ни тепла, ни света в окружающей обстановке из-за войны наблюдаться не может. А шинель меня греет и надёжно оберегает от вражеской пули, которая жужжит шмельём, втыкаясь в землю. Отрадно думать, что кроила её ты. С приветом и пожеланием скорой Победы, твой муж Гриша».

Эти строки Серафима перечитывала несчётное количество раз. Она гордилась, что именно её руки скроили дорогую для мужа вещь, которая бережёт его от вражеской пули.

Сам фронт до Дымова не дошёл добрых полторы сотни вёрст. Хотя не раз слышала Серафима, как в небе над городом натужно гудели немецкие самолёты, за все дни войны город ни разу не бомбили. Может, Дымов спасала светомаскировка, а быть может, и то, что не было в его окрестностях ни большого моста, ни завода. А между тем дом у Серафимы требовал хозяина: где прибить доски, где починить дверные петли. Как могла, так и ладила Серафима с домашними хлопотами, да только женские руки — не мужские, а дело плотницкое, как ни крути, всё же навыка требует.

Однажды осенью увидела Серафима, как на станции два солдата снимают с поезда человека, пристёгнутого ремнями к деревянному возку. Одет он был в старый солдатский ватник, за плечами болтался вещмешок, а на поясе пристёгнута фляжка.

— Спасибочки вам, ребята, за то, что подсобили, — поблагодарил их ветеран, принимая из рук молодого солдата гармонь.

— Да и тебе, дядя, спасибо! Играешь ты на инструменте что надо. Натёкисет табачку, на подарок.

— А как же вы?..

— А есть у нас дядя, есть! Бывай!

Почти насильно одарив, молодой солдат запрыгнул за товарищем в вагон.

Дежурная по станции подняла вверх свёрнутый жёлтый флажок, паровоз дал протяжный гудок и потащил за собой лязгающие зацепными устройствами вагоны дальше, за Волгу.

Прижимая к себе одной рукой гармонь, солдат развязал кисет с табаком и стал сворачивать цигарку.

— Эй, служивый,— окликнула дежурная солдата,— фамилия твоя как?

— Стрельцовым буду.

— Ты, гляжу, как не нашенский. Живёт у тебя здесь кто?

Солдат на вопрос не ответил, а, чиркнув заскорузлым пальцем по латунной зажигалке, сделанной из винтовочной гильзы, высек огонёк. Хороня его от ветра, подкурил самодельную папироску.

— Чего молчишь?— не отставала дежурная.

— А что заря говорить? Пусть собаки брешут,— сказал Стрельцов, выдыхая сизый табачный дым.— К товарищу боевому приехал. А что?

— Да ничто, гражданин! Грабят у нас в поездах, вот что!

— Мне до этого дела нет. Я не советская власть.

— А мне вот есть дело. И для тебя я— как раз власть советская. Где живёт твой товарищ?

— Недалече,— ответил Стрельцов и улыбнулся.

Но доброжелательность подозрительного незнакомца дежурная рассудила по-своему.

— Ты мне тут не скалься, не в фотоателье за явился,— сказала она, подойдя к инвалиду,— а то препровожу куда следует, а там уж разберутся с тобой. Может, ты и есть вор.

— Да какой он вор?— не сдержалась Серафима, вставая с лавочки.— Что ж вы— не видите? Он же— безногий!

— А и что, что безногий? Посторонним тут делать нечего. Приехал, понимаешь, он к товарищу. Что за товарищ? Где живёт? Это всё надо проверять.

— Вот напасть!— выдохнул Стрельцов и, поставив на землю гармонь, расстегнул до пояса фуфайку, открыв два ряда медалей.— Солдатскую книжку тоже будешь глядеть?

— А на что она мне?— повернувшись к солдату спиной, ступевалась железнодорожница.— Небось, такой иконостас за так на фронте не заработать.

— Угомонилась?— спросил Стрельцов, перекидывая гармонь через плечо.

Что-то проворчав себе под нос, уязвлённая дежурная скрылась за дверью вокзала.

Солдат взялся за деревянные плашки, чтобы ехать.

— Постойте!— окликнула его Серафима и подошла ближе.— Вы хоть знаете, где живёт товарищ?

— Сказывал он мне, что дом его недалече от вокзала стоит, у водокачки,— прищурился Стрельцов, глядя снизу вверх на незнакомку.

— Может, вас проводить?— предложила Серафима.

— Благодарствую, гражданочка, адресок у меня имеется, а ось не заплутаю,— поправил сбившуюся на затылок пилотку солдат.

.....

«Андрюша»— муз. И. С. Жака, сл. Г. Гридова (1938), первое исполнение— К. Шульженко.

— Вы не сердитесь на неё, это она не со зла так говорила,— Серафима не находила, что ей больше сказать.

— А мне, гражданочка, не привыкать. Бывайте себе здоровы!— попрощался он с незнакомкой и покатил по грунтовой дороге, временами поправляя на спине гармонь.

Спустя месяц увидела Серафима знакомого ей солдата у городской почты. На земле рядом с ним лежала шапка, на дне её было несколько медяков. Сидел он на своей тележке и, играя на гармонии, пел надломленным баритоном «Андрюшу»:

Эх, путь-дорожка,
Ещё ровней немножко.
Вернулась девчонка,
Улыбки не тай:
«Здравствуй, Андрюша,
Пришла тебя послушать».
И запела милая моя.

Прохожие останавливались, слушали певца и, наклоняясь, клали в шапку деньги, а он продолжал петь, кивая головой, испытывая благодарность:

Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи
Ворвался ветер, кудри теребя.
Поиграй, чтоб ласковые очи,
Не спросясь, глядели на тебя¹.

Закончив петь, Стрельцов свернул меха гармони так, что медали на его линиялой гимнастёрке глухо звякнули. Серафима тоже положила в шапку монеты.

— Спасибо вам, гражданочка,— поблагодарил Серафиму он.

— Нашли вы своего товарища?— взглянув на его небритое лицо, тихо спросила она.

— Нет. Умер он от ран. В госпитале.

— У кого тогда вы живёте?

— Да так... Устроился тут у одних людей, за печкой,— отводя глаза, сказал Стрельцов.— Приютили. Жалоб нет.

Сердце у Серафимы сжалось.

— Вы ели хоть что-нибудь сегодня?

— Попрою ещё с полчаса— заработаю. Я и плотницки могу. А что? Руки мои рубанок-фуганок помнят. Молоток с пилой тоже. Я ж не только горластый, я и рукастый. Вам помощь какая в хозяйстве требуется?

— Помощь требуется.

— Да вы ничего такого не думайте, угол у меня есть.

— Я и не думаю. А угол у вас такой— сегодня есть, а завтра нет. Чего вам по дворам ходить? У нас и собаки в районе бегают, нападут— не отобьётеся. Я— Серафима Гладышева, вдовая солдатка. Пойдёте ко мне на постой?..

— Отчего ж не пойти, коли хороший человек приглашает? Пойду. А как вас по батюшке?

— Николавна. А вы, стало быть, Стрельцов?

— Так точно, как есть гвардии рядовой Андрей Стрельцов, списанный вчистую по ранению! Фриц треклятый в Моравии постарался: резануло меня, дорогая женщина, в апреле осколком мины по самому что ни есть низу!

— Да как же это?!— охнула Серафима.

— А вот так. Стесало мне ступни почище вострой косы, и сапоги пропали. Новые были сапоги! И всё бы ничего, да загноились ноги, и пока выше колен доктора не отчекрыжили культяпки, дела мои на поправку не пошли. Так-то.

— Настрадались вы...

— Серафима Николаевна. Что ноги! Без рук люди пооставались! Так что ещё свезло мне. А сказал я вам всё это потому, что не знаете вы меня.

— Так и вы меня не знаете, Андрей.

— Не скажите, ваш характер во всём видится, добрая вы.

— Дождь накрапывает,— сказала Серафима, вытянув перед собою ладонь.— Собирайтесь, а то накроет.

— И вправду заморосило,— согласился с нею Стрельцов и, взглянув на потемневшее небо, стал собираться.

— Этак мы с вами не успеем,— забеспокоилась Серафима.— Давайте мне вашу гармонь,— предложила она и, не дожидаясь согласия Стрельцова, нагнулась и взяла инструмент в руки.— Ну что вы застыли? Идёмте.

От неожиданности солдат закашлялся в кулак и, помедлив, покорно двинулся вслед за ней.

Как ни торопились Серафима и солдат, а всё же доробой застал их ливень. Поначалу думалось им, что дождь стихнет совсем, но на середине пути задул порывами промозглый ветер, в небе сверкнуло, и спустя минуту пришёл звук грома, а с ним и ливень.

В доме Серафима дала Стрельцову чистую сорочку и полотенце.

— Давайте, Андрей, переодевайтесь в сухое, а я скоро.

С этими словами она вышла в другую комнату, закрыв за собой дверь.

Андрей Стрельцов осмотрелся: три стула с гнутыми ножками придвинуты к столу, покрытому домотканой скатертью, пузатый комод, на нём— мраморные слоники, тикающий будильник, а выше, на стене, семейные фотографии. Позабытый за годы войны запах домашнего тепла защекотал его ноздри. Не вытерпев, Стрельцов выкатился в сени.— Вот те на!— услышал он позади себя голос Серафимы.— Не евши, не пивши— и в двери? Хорош у меня помощник!

Кровь отхлынула от сердца Стрельцова.— Спасибо вам за беспокойство,— не поднимая головы, глухо сказал он и открыл дверь на улицу.

Дождь обещал быть затяжным. Мелкие брызги капель ветер задувал в дом.

— Да ты что ребячишься, Андрей?!— вдруг перешла на «ты» Серафима.— Куда тебя понесло?! Забыл что на той квартире?

— Я тут у вас наследил... извиняйте меня, хозяйка.

— Не твоя забота об этом. Тебя позвали, не сам напросился. А раз так, то будь добр не обижай хозяйку.

— Не могу я у вас, Серафима Николаевна, простите...

— За что мне тебя прощать? Дров кто мне наколет?

— Не знаю, Серафима Николаевна, не знаю... Хорошо, должно быть, у вас, да вот мне боязно.

— Никогда не думала, что такой человек и страх имеет.

— Прикипеть не хочу к вам сердцем. Женщина вы, по всему видать, порядочная. К чему вам пересуды, что с инвалидом связалась? Не кум я вам, не сват, не родный брат.

— Что мне людские языки, когда вижу, что человек пропадает?

— Пропать я ещё не пропал, Серафима Николаевна, это вы зря думаете.

— Что ж ты, от хорошей жизни в Дымов приехал?

— Приехал и приехал, все куда-то приезжают.

— Домой солдат едет с фронта, а не к товарищу жить.

— А когда некуда ехать, что тогда?

— Советы я тебе, Андрей, давать не могу, и права у меня на это нет, а вот накормить и в чистое переодеть— это всегда пожалуйста!

— Как же всё у вас просто, Серафима Николаевна.

— А чего усложнять-то жизнь? Она и без того лягается, как хромая лошадь. Спать у меня в доме есть где, поместимся, чай не в берлоге живу. Обвыкайся, помогай, а на чужой роток я найду какой платок набросить.

Андрей Стрельцов смотрел прямо перед собой на морозящий дождь и не верил услышанному. «Разве так бывает? И был бы я родственник какой ей, тогда и понятно, а то ведь чужой человек. А вот поди ж ты, пригласила в дом, не побрезговала»,— думал он, решая про себя, остаться ему или нет.

Затянувшееся молчание нарушила Серафима:— Керосинка у меня чадить стала, ума не приложу, что с ней такое, стготовить ничего невозможно, коптит и коптит.

— Где она там, покажите,— сказал Стрельцов, отъезжая от порога.

Спустя полгода, идя вечером с фабрики, встретила Серафима у своей калитки соседку Любу Комову.

— С великой радостью тебя, Серафима.

— Что такое?

— Как же! Гладышев твой вернулся!

У Серафимы ослабели ноги, и, чтобы не упасть, она села на покрывную снегом лавочку.

— Давно он в доме?

— Почитай, как больше часа прошло. Как зашёл, так и не выходил ещё. Как вы жить будете? Ты ведь его уже похоронила, другого себе приняла. Обихаживаешь. И чего не обихаживать—мужик он смиренный.

— Доложится ты, конечно, Григорию успела.

— Ну и сказала я. А что же мне, молчать, когда при живом-то муже?..

— Иди-ка ты отсюда, соседка, подбру-поздорову. Глаза б мои на тебя не глядели.

— А чего ты меня гонишь?! Чего?! Где хочу, я там и стою. Улица не твоя, Фимка! Она общенародная! Это мужики бывают свои и пришлые.

— Ну и стой, Любка, где стоишь, раз совести у тебя нет!—сказала Серафима, вставая.

— Ой, кто меня совестить-то вздумал! Кто!

Говорить Любка старалась нарочито громко, так, чтобы слышали её и в соседних дворах. Но, на её неудовольствие, улица была пуста, в окнах мерцали керосиновые огни ламп. Людей, пришедших домой с трудовой смены, заботила только своя жизнь.

— Ну угомонись уже!

— Все кругом поганцы, одна она, гляньте, люди, честная жена!—распаляла себя Любка.—Всё

ходила поезда встречать, всё высматривала. И высмотрела полюбовничка себе!

Серафима, не отвечая, вошла во двор и закрыла калитку. Сердце её, и без того не находящее в груди себе места, замерло. На крыльце стоял Григорий. Зная гневливый нрав его, она опустила голову. Григорий, однако, бранить жену не стал, а, глядя на притихшую у забора Любку, спросил:

— Тебе что, сорока, на хвост соли насыпали?..

— Какая я тебе сорока?—живо откликнулась Любка, подступив к калитке, не веря в то, что Григорий может простить жену.—Ты хоть бы мне спасибо сказал, баран упёртый!

— Глупая ты баба, Любка. Видать, на роду тебе написано дурой помереть. Одно слово: темнота неразумная. Кланяться Серафиме моей в ноги надо, что герою войны приют дала. А ты лаешься на неё! Он же, калечный, дальше стола в доме не ходит, а ты—«полюбовничек»! Да и на чём идёт! Руки-то, слава Богу, только и ходячие! Я сам в госпитале в беспамятстве лежал не один месяц, доктора латали, места живого не было, дырка на дырке... Эх, сорока-сорока, что с тобой толковать!—махнул с досады Григорий рукой и, глянув на закусившую губы жену, сказал:—Пойдём, Сима, в дом, а то ноги у меня на морозе стыннут, видишь—босый я.